

**Военные
Приключения**

ОДНА НОЧЬ



Н. ПОПАТИН Г. МАТВЕЕВ

Военные приключения (Вече)

Герман Матвеев

Одна ночь

«ВЕЧЕ»

1908, 1938

УДК 821.161.1311.3
ББК 84(2)

Матвеев Г. И.

Одна ночь / Г. И. Матвеев — «ВЕЧЕ», 1908, 1938 — (Военные приключения (Вече))

ISBN 978-5-4484-8877-1

В последние десятилетия на человечество то и дело обрушиваются новые, небывалые раньше заболевания. И периодически возникает вопрос: не творение ли они тех, кто считает себя учеными? Тем более что все больше появляется данных о хорошо засекреченных лабораториях, в которых ведутся работы по созданию, казалось бы, официально запрещенного оружия... Этой теме и посвящены остросюжетные произведения, включенные в книгу. Роман Николая Петровича Лопатина (1880–1914) «Чума» впервые опубликован в 1908 году, сразу же запрещен цензурой, и практически весь его тираж был уничтожен. Герой романа профессор Хребтов ненавидит людей и готов пойти на все, чтобы отплатить за обиды, нанесенные ему жизнью. А пограничнику Грохотову и его боевым друзьям из повести «Одна ночь», написанной автором знаменитого романа «Тарантул» Германом Ивановичем Матвеевым (1904–1961), предстоит смертельный бой с людьми, стремящимися пронести на территорию Советского Союза очень опасный «подарок».

УДК 821.161.1311.3

ББК 84(2)

ISBN 978-5-4484-8877-1

© Матвеев Г. И., 1908, 1938

© ВЕЧЕ, 1908, 1938

Содержание

Николай Лопатин	6
I	6
II	15
III	24
IV	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37

**Николай Петрович Лопатин,
Герман Иванович Матвеев
Одна ночь**

© Матвеев Г.И., наследники, 2022

© ООО «Издательство «Вече», 2022

Николай Лопатин

Чума

I

Крайнее уродство так же трудно изображать, как и редкую красоту.

Поэтому я хорошо сознаю, какую неблагоприятную задачу взял на себя, собираясь описывать внешность профессора Хребтова; но мне необходимо сделать это потому, что отталкивающая наружность, вне сомнения, оказала громадное влияние сначала на склад его характера, а затем и на всю его судьбу.

Она была проклятием, наложенным при рождении и сохранившим силу до конца жизни.

Издали Хребтов походил на паука, вследствие почти квадратного туловища и непомерно длинных рук и ног. Последние, кроме того, были изогнуты настолько сильно, что кривизна оставалась заметной, какую бы позу он ни принимал.

Вблизи же внимание зрителя не могло не сосредоточиться на голове Хребтова, потому что она отличалась не обыкновенным уродством, а уродством поражающим, возбуждающим ужас и отвращение, – уродством, приковывающим к себе взгляд с гипнотической силой.

Казалось, гениальный художник создал эту голову в порыве дьявольского вдохновения, с единственной целью – надругаться над человеческим лицом.

Огромный, прекрасный лоб мыслителя сочетался здесь с отвратительными, маленькими, подслеповатыми глазками без ресниц, с того рода глазами, в которых всегда чувствуется сластолюбие, зависть и хитрость.

Скулы были развиты, как у хищного животного, прыщеватые щеки землистого цвета, прорезанные морщинами, придавали лицу унылое, мертвенное выражение. Огромный, выдвинутый вперед вместе с подбородком рот невольно заставлял вспомнить гориллу.

Впрочем, этого мало; главное уродство Хребтова зависело не от черт лица, а от его противного, отталкивающего выражения, причину которого невозможно было найти, передать которое словами – немыслимо.

Достаточно сказать, что ни один человек, выдавший его, не мог преодолеть в себе чувства враждебной гадливости. Воспоминание о страшной маске Хребтова долго сопровождало каждого впечатлительного встречного, как воспоминание тяжелого сна или кошмара, вызванного лихорадочным бредом.

А между тем в этом теле выродка жил мощный, гениальный дух!

Вот и говорите после того, что духовный мир человека так или иначе отражается во внешности, – ведь профессор Хребтов обладал гениальнейшим умом столетия; его имя записано в летописях культуры наряду с именами Дарвина, Мечникова, Пастера; его работы в области биологии покорили человечеству новый, неизвестный мир научных тайн.

Мало того, в смысле субъективной силы, энергии и таланта, его следует поставить выше перечисленных ученых, ибо он, подобно Ломоносову, Горькому и Шалапину, вышел из простонародья; значит, должен был преодолеть тысячу препятствий, отделяющих сына неграмотного крестьянина от самых высоких вершин культуры.

Разумеется, такая карьера в самом начале не могла обойтись без счастливой случайности, раз навсегда выбившей гениального ребенка из колеи темного существования простолюдина. Интересно, что этой улыбкой счастья, первой и последней в жизни, Хребтов был обязан как раз своей проклятой внешности.

Его отец был дворником одного из домов в Москве, на Воздвиженке. Самыми уважаемыми жильцами того дома, где он служил, считались старый, важный чиновник со своею женою, – чиновничья чета, бездетная, скучная, сухая, методичная и мелочная.

Они прожили вместе около тридцати лет, и в результате их отношения между собою слагались из остатков показной нежности, вроде слова «душечка», постоянно употребляемого в разговоре, из общих забот о карьере мужа, из общих интриг и сплетен по адресу знакомых и из вечных беспричинных, но злобных ссор между собою.

Казалось, с каждым годом своей тридцатилетней супружеской жизни они все более надоедали друг другу, так что под старость им осталось одно наслаждение – вымещать скуку, навоевавшую друг на друга ехидными разговорами, спорами, полными желания уколоть, обидеть собеседника.

Подобные отношения могут возникнуть только между супругами, долго проживающими вместе или между каторжниками, скованными общею цепью. От постоянных ссор злобное выражение так вкоренилось в их лица, что куда бы они ни шли, чем бы ни занимались, физиономии у них оставались такие, будто он ей говорил:

– Душечка! Я не знаю, где у вас глаза. Кофе опять пережарен!

А она отвечала:

– Душечка! Если бы вы не заигрывали с кухаркой, я могла бы следить за хозяйством; в доме же, где сам хозяин заводит разврат, порядка никогда не бывает!

Вот эта-то симпатичная парочка и сыграла в жизни Хребтова роль Провидения.

Однажды, проходя по двору, чиновник заметил сына дворника, мальчика лет восьми, который пускал кораблики в водосточной канаве. Несмотря на нежный возраст, ребенок был так поразительно нехорош со своими кривыми ногами, руками, как грабли, и лицом, похожим на злобную маску, что чиновник, хотя редко делился с женою впечатлениями, сказал ей, вернувшись домой:

– Сегодня я видел на дворе необыкновенного мальчишку. Вот пугало-то! Настоящее маленькое чудовище; даже неприятно смотреть.

Генеральша (так звали все в доме жену чиновника) ничего не ответила, но несколько дней спустя, после какой-то ссоры, желая досадить мужу, послала за мальчиком под предлогом желания накормить его и приласкать.

Маленький Хребтов не обманул возложенных на него надежд. Одно его появление в доме принесло чиновнику больше огорчения, чем самое упорное пиление супруги. Он попробовал протестовать, говоря, что при виде «мерзкого паучонка» теряет аппетит, но в ответ послышалась целая проповедь об эгоизме, жестокосердии, скарденности и пр. и пр.

Тогда супруг смирился, притворился равнодушным, однако при встречах с паучонком во дворе или наедине в комнатах никогда не упускал случая дать мальчику пинка или ущипнуть его как можно сильнее.

Сделавшись в руках генеральши оружием против ее мужа, маленький Хребтов этим самым стал для нее дорог.

Возможно также, что бездетная старуха почувствовала к нему известную привязанность, потому что сначала вспоминала про него только в дни супружеских ссор, а потом стала заботиться о нем все больше и больше, начала регулярно прикармливать его, снабжать одеждой и, наконец, решила платить из своих средств за его обучение грамоте.

Последнее совсем не понравилось отцу Хребтова, находившему всякое учение баловством. Однако спорить с генеральшей он не нашел возможным; она была самою важною жиличкою в доме и, хотя на чай давала скупое, но восстановить ее против себя – значило не обобратиться потом неприятностей, криков и жалоб хозяину.

Поэтому старый дворник ругал дома мальчишку, издевался над его ученостью и поощрял к тому же других детей, но при встречах с барыней целовал у нее ручку, рассыпаясь в благодарностях за попечения.

Эта трогательная признательность подогревала благотворительность генеральши. Умиляясь собственной добротой, она дошла до того, что в один прекрасный день отдала Васю Хребтова в гимназию и таким образом, в возрасте десяти лет, мальчик окончательно оторвался от родной почвы, чтобы вступить на новую дорогу.

Дорога эта должна была привести его к бессмертию, но в ту пору она обрекла Васю на жестокие страдания. Отец не мог ему простить, что должен распоряжаться сыном не по своему усмотрению, а по указаниям взбалмошной барыни. Со своеобразной логикой дикаря, он считал мальчика главной причиной такого положения вещей и всячески вымещал на нем свою обиду.

Братья и сестры завидовали успеху Васи, так что за все благодеяния генеральши ему приходилось расплачиваться тем, что дома его жизнь была отравлена от первой минуты и до последней.

Он не жаловался, редко даже огрызался, когда его преследовали, но его безобразное лицо становилось все злее и злее. Другой крестьянский мальчик, попав в такое сложное, мучительное положение, отказался бы учиться, убежал бы или вообще нашел какой-нибудь выход, но Хребтова спасло прилежание, с каким он отдавался науке; он так много, так упорно учился, что утомленный этим организм оказывался малочувствительным к чему бы то ни было.

Так продолжалось в течение четырех лет. Когда же Вася перешел в четвертый класс, генеральша умерла, и он остался без всякой поддержки.

Наступил наиболее трудный период его тяжелой молодости.

Отец хотел немедленно взять сына из гимназии. Никакие просьбы, никакие мольбы не помогали. Только тогда, когда Вася, с горящими глазами протягивая руку к образам, поклялся, что в ближайшую же ночь зарежет всю семью, если ему помешают продолжать учение, старый дворник согласился не осуществлять своей родительской воли. Но за это он выгнал сына из дома и запретил ему попадаться себе на глаза.

– Уходи, волчонок, гадина, уходи, выродок!

Таково было последнее напутствие, какое услышал Хребтов в родной семье, покидая ее, чтобы пуститься в широкий свет.

И он пошел в свет, готовясь бороться за жизнь всеми силами своего только что проснувшегося ума, своих нервов, своих мускулов, своего несокрушимого здоровья и бесконечной настойчивости.

Он замешался в толпу отыскивающих хлеба, а люди, встречавшие его, и не подозревали, какая колоссальная сила скрыта в этом юноше, какое значение будет иметь для мира то, в какую сторону она направится – на добро или на зло.

Как жил он дальше, как ухитрился кончить гимназию? Я думаю, Хребтов сам не сумел бы рассказать про это, потому что существовал со дня на день, зарабатывая где и как придется; питаюсь тоже Бог весть как, по временам голодая, каждый день совершая чудеса выносливости, работоспособности, настойчивости.

«Работать, чтобы существовать; существовать, чтобы работать».

Этой формулой исчерпывается все содержание его гимназической жизни. Когда он впоследствии вспоминал эти годы, они представлялись ему как долгий период каторжной работы, без малейшего просвета, без одной минуты спокойствия за завтрашний день.

С людьми он сталкивался только в двух случаях – в гимназии и при зарабатывании хлеба. Но не много радости видел он от людей.

Гимназических учителей раздражал его мрачный вид и грубые манеры. Большинство из них, люди, порядочно надерганные жизнью, несомненные неврастеники, вели против него постоянную глухую борьбу, пытались срезать его или поставить дурной балл.

С товарищами Хребтов тоже не мог сойтись. Будь он физически немного слабее, он сделался бы по причине уродливости предметом издевательства и злых шуток для всего класса. Так как он был силен и в минуты ссор проявлял необузданное бешенство, то его оставляли в покое, но сторонились от него и ненавидели непримиримую детской ненавистью, отчасти за внешность, отчасти за то, что он лучше всех учился, отчасти за то, что никто никогда не видел от него приветливого взгляда.

В семьях, где давал уроки, Хребтов тоже не мог встретить ласки. Те, кто платит за уроки более или менее приличное вознаграждение, предпочитали нанимать более симпатичных репетиторов. Его брали или скупцы, пытавшиеся урезать каждую копейку, учесть каждую минуту работы, или люди, придавленные нищетой – нищетой, которая нас озлобляет, уродует нашу душу и заставляет на весь свет смотреть с раздражением.

Так пробивался он своей дорогой, одинокий, совершенно одинокий, глубоко одинокий.

У нас принято злоупотреблять словом «одиночество». Поэтому редко кто представляет себе всю тяжесть гнета, какой оно накладывает на человеческую душу.

Не одинок тот, с кем ласково разговаривает случайный спутник в вагоне.

Не одинок тот, кто может найти сочувствующего слушателя, говоря о своих личных делах.

Не одинок тот, кто в радостный, весенний день может смешаться с толпой на бульваре и обмениваться со встречными приветливым взглядом.

Одиночество Хребтова было гораздо более полным и страшным.

Это было одиночество в стане врагов. Он не знал ни ласкового взгляда, ни улыбки, ни даже случайного слова ободрения.

Человечество, как чуждое, злобное существо, смотрело на него тысячью холодных глаз. Юноша ежился под этим пристальным взглядом, все глубже и глубже уходя в самого себя.

Девятнадцати лет он сделался студентом естественно-исторического факультета в Москве.

С того момента его существование немного прояснилось. Работа была по-прежнему тяжелая, непрерывная, голод и нищета по-прежнему его давили, зато у него в жизни появилось некоторое внутреннее содержание.

Он полюбил биологию.

До сих пор его внутренний мир, – святая святых человеческого «я» – был темен и пуст, как у дикаря. Мечтать он не умел, да и не мог научиться, от мысли о женщинах спасало его то отвращение, какое они к нему проявляли, определенных задач и целей на будущее он тоже не имел.

Руководящим началом жизни Хребтова был могучий инстинкт жизни, темный, бессознательный, унаследованный им от предков-пахарей, проводивших всю жизнь в упорной борьбе с землею, добываясь лишь одного – возможности существовать.

Теперь интерес к науке дал ему новый жизненный импульс и еще увеличил колоссальную силу этого удивительного человека.

Отдавая посторонним занятиям лишь столько времени, чтобы заработать денег на пропитание, даже из этих часов пытаясь урвать что можно и расплачиваясь за это голодом, Хребтов всю свою силу, все способности сосредоточил на изучении биологии.

Неудивительно поэтому, что он скоро выделился среди студентов и был знаменит в университете не только отвратительной наружностью, но и обширностью познаний.

Уже тогда ему предсказывали блестящую будущность, хотя, конечно, никто не знал, на какую высоту славы и успеха поднимет его гений.

Двадцати трех лет он окончил университет и остался при нем, чтобы готовиться к кафедре. Двадцати пяти – защитил диссертацию на тему «О бактериях, как необходимых спутниках жизни высших организмов».

Еще через два года защитил вторую диссертацию и сделался профессором.

К этому времени его имя уже пользовалось почетной известностью в ученом мире России. Хребтов сделался, наконец, самим собою. Он дошел до вершины того пути, по которому подвигался с таким феноменальным упорством, со злобною энергией человека, предоставленного собственным силам, но не потерявшего присутствие духа и желающего торжествовать над всем и всему.

Что же за человек из него вышел?

В смысле внешности он по-прежнему оставался возмутительною, злобною карикатурой на людскую породу. В смысле нравственном он представлял идеальную, научно мыслящую машину.

Все страсти и чувства его, постоянно подавляемые, молчали с раннего детства. Но за их счет развивались постоянно упражняемые в одном направлении умственные способности.

Поэтому во многих отношениях Хребтов был груб, примитивен, как дикарь, во всем же, что казалось реального мышления, являлся типом более усовершенствованной расы, чем современные ему люди.

Он был парадоксален, как всякий гений.

Но зато какую обаятельную мощью обладал его ум! Это был настоящий ум человека, призванный царствовать над природой.

Покорный только одной логике, свободный от влияния настроений, страстей и желаний.

Ум, словно порвавший последнюю связь с плотью и поднявшийся до высоты идеального мышления.

Неистощимый, неутомимый, способный одинаково легко взвешивать мировые идеи и ничтожные мелочи.

Ум – сознающий свою силу, гордящийся, наслаждающийся ею.

Он вызывал на бой научные проблемы и побеждал их.

Сражался с природою и завоевывал ее тайны.

В упоении побед и славы, Хребтов нарочно выискивал самые трудные, самые неразрешенные задачи. Он брался за них при помощи колоссального терпения, феноменальной усидчивости, огромной памяти и поразительного количества знаний.

Он направлял на них свою мысль, так удивительно развитую, отточенную, отполированную, способную проникать везде, как лезвие острой стали.

Эта мысль разбивала преграду за преградой, прокладывая дорогу к истине, пока та не обнажалась перед человеком.

Тогда Хребтов брал истину своими грубыми крестьянскими руками и выносил ее к толпе. Толпа шумела, рукоплескала, удивлялась и кричала от восторга, а он спокойно возвращался к себе в берлогу, довольный только тем, что добился-таки своего.

На лице его играла улыбка при воспоминании о побежденных трудностях.

Совершенно так же улыбался дед Хребтова – хлебопашец, когда, окончивши тяжелую вспашку поля, садился на меже и отдыхал, вытирая пот с загорелого лица.

Как известно, бактериология полна тайн и предметов для исследования более всякой другой области естественных наук. Поэтому работы Хребтова быстро следовали одна за другою, поражая совершенством методов исследования и богатством добытых результатов. Каждая из них служила ступенью к мировой славе, и в сорок лет профессор мог похвастаться, что состоит почетным членом всех научных обществ Европы, что имя его известно всякому образованному человеку, что ему поклоняются люди, никогда его не выдавшие, живущие от него за тысячи верст.

Завидное положение! Кто из нас, готовясь к той или иной общественной деятельности, не мечтал о подобном, прежде чем первые неудачи охладили его самоуверенный пыл?

Но Хребтов наслаждался успехом гораздо менее, чем можно предполагать.

Внимательно следя за всем, что про него говорили и писали, он с искренней радостью встречал каждую похвалу, каждую новую почесть; только радость эта была не светлая, не веселая, а мрачная и злая. Прочитывая хвалебную статью, рассматривая только что присланный диплом, он улыбался своею пастью гориллы и презрительно хрюкал, будто желая сказать: «Ага, черт возьми, наконец-то вы, мелюзга, поняли, с кем имеете дело! Что, теперь, небось, восхищаетесь!»

А потом закидывал и статью, и диплом куда-нибудь в угол, словно добавляя: «Впрочем, чего вы стоите сами, того стоят и ваши похвалы».

Одним словом, его удовлетворение заключалось не в том, что он стоит выше людей, а в том, что люди стоят ниже его и чувствуют это.

Конечно, при таком положении вещей около Хребтова не могла создаться атмосфера домашней славы и поклонения, которая больше чувствуется, слаще щекочет нервы, чем даже мировая известность. Теперь, как и в молодости, Хребтов был совершенно один; только причины одиночества имело разные.

Прежде люди отталкивали его за безобразную внешность, теперь он отталкивал людей, потому что смотрел на всякого постороннего с худо скрытым раздражением, а подчас и с презрением. Старая, вкоренившаяся привычка к одиночеству заставляла его не подпускать близко к себе ни одну человеческую душу.

Была еще одна причина, отделявшая Хребтова глубокой пропастью от всего человечества: несмотря на свою славу, несмотря на грубый характер, на резкие манеры, он был страшно, болезненно застенчив.

У него в душе был вечно больной уголок, где неизгладимо запечатлевались все мельчайшие случаи, когда ему приходилось бывать в смешном или глупом положении или слышать насмешки и порицания.

Эти воспоминания были постоянно свежи, он часто переживал их со злобою и страданием, причем никак не мог простить людям, что, считая себя намного выше их, остается таким чувствительным к их суду.

Старая истина, что причиною застенчивости бывает чрезмерное самолюбие, как нельзя лучше подтверждалось на Хребтове, а застенчивость у людей его возраста и положения выражается обыкновенно злостною необщительностью, которая всех отталкивает.

Даже университетская молодежь, такая экспансивная, такая восторженная, и та не питала любви к своему знаменитому профессору. Его уважали, им гордились, но личность его была одной из наиболее непопулярных.

Часто молодой студент забывал о великих заслугах Хребтова, чтобы нарисовать карикатуру на его уродливую фигуру или, после встречи с ним в коридоре, рассказывал:

– Я встретил сегодня Хребтова. Он так на меня взглянул, что мне показалось, будто я проглотил живую жабу.

Вероятно, отношения были бы иными, если б Хребтов мог сблизиться со студентами хотя бы на почве науки, но он, при всех своих научных заслугах, был очень плохим профессором.

Правда, он любил свой предмет, но любил его эгоистически. Передавать свои знания другим было для него скучной обязанностью, исполняемой без всякого увлечения, даже с отвращением.

Никогда между ним и аудиторией не устанавливалось духовной связи. Студенты изнывали от скуки на его лекциях, тем более что говорил он настолько же плохо, насколько хорошо мыслил.

Недостаток умения ясно выражаться был отличительною чертою Хребтова, чертою, сложившейся под влиянием замкнутой одинокой жизни. Ему никогда не приходилось рассказывать, делиться с кем-нибудь впечатлениями. Вспышек, увлечения, потребности высказаться не знала его угрюмая натура. Поэтому и речь его поражала мертвенной сухостью, отсутствием

красок. Ледяною скукой веяло от каждой из его неуклюжих фраз. Чувствовалось, что он говорит неохотно и будет доволен, когда придется замолчать.

Таким был Хребтов в общественной жизни. Еще менее привлекательным являлся он в своем частном, личном обиходе.

Пройдя школу нищеты, он почувствовал себя прямо-таки богачом, начавши получать профессорское жалованье. Однако деньги не побудили его предаться соблазнам жизни. Потребности его были сведены до минимума, вкусу к роскоши явиться было неоткуда, о развлечениях он не думал.

Наука давала достаточное содержание жизни. Об удобствах профессор заботился ровно настолько, чтобы всегда оставаться свежим и работоспособным.

Изящные искусства для него не существовали. Единственным произведением, привлекавшим внимание Хребтова, была восковая кукла в окне парикмахера, мимо которой он ежедневно проходил, направляясь в университет.

Эта особа с голыми руками, с накрашенными губами и чрезвычайно пышной грудью, сильно увлекала его. Он не пытался анализировать своего к ней отношения, но часто сожалел, что, вместо продолжения пышных форм, у нее сейчас же под декольте начинается черная лакированная подставка.

Об одежде профессора в университете рассказывали целые легенды. Действительно, трудно себе представить человека, который меньше него думал бы о своем костюме.

У него никогда не было больше одной пары платья и одной пары сапог, приобретенных так же, как во времена бедности, в дешевом магазине готовых вещей.

Покупая и примеривая, он никогда не приближался к зеркалу, так что едва ли знал, какого цвета надетый на нем пиджак. Раз надевши платье, совершенно переставал о нем думать, не замечал, как отлетали пуговицы, как пятна реактивов и кислот испещряли полы, и искренне удивлялся, когда в один прекрасный день кухарка говорила ему:

– Вы бы, батюшка, купили себе новый пиджак, а то срамota одна – люди скажут, денег нет!

Эта старая баба, ленивая и фамильярная, была его единственною прислугой, а также единственным человеком, причастным к личной жизни профессора.

Ее обязанностью было готовить обед, убирать квартиру и во всякое время дня и ночи носить в лабораторию чай, который Хребтов поглощал в огромном количестве.

Иногда, по вечерам, ей приходилось вести со своим хозяином долгие беседы о деревенских делах или о том, что происходит в соседних кухнях. Потому ли, что профессор умел в таких случаях опускаться до умственного уровня кухарки, или потому, что ее интересы были действительно ему по плечу, но он бывал в эти вечера гораздо более словоохотлив и оживлен, чем во всех других случаях своей жизни.

Жил Хребтов на краю Девичьего поля, в той переходной от города к деревне местности, украшенной заборами и пустырями, где отсутствует все, что есть удобного в городской жизни, но еще не начинаются прелести деревенской.

Впрочем, ни тех, ни других не было нужно профессору. Он чрезвычайно ценил свое невзрачное убежище за уединенность, спокойствие, а также за то, что был полновластным хозяином нанимаемого особнячка, между тем как, живя в многоэтажных городских ульях, невольно приходится считаться с массой неизвестных человеческих существ, кишящих со всех сторон за стенами, под полом, над потолком.

Еще студентом, проживая в углах, в меблированных комнатах, а потом в общежитии, всегда на виду у людей, всегда стремясь уйти от них как можно глубже в самого себя, Хребтов мечтал об уединенном убежище где-нибудь на краю города или в деревне.

Теперь эта мечта осуществилась. Квартира удовлетворяла профессора во всех отношениях. Зато она и носила на себе отпечаток его своеобразной натуры, как раковина носит отпечаток слизняка.

Лучшая комната в ней была отведена под помещение для экспериментируемых животных. Она являлась настоящим застенком современной науки, застенком душным, смрадным и отвратительным для всякого, в чьих глазах наука не представляется великим божеством, заслуживающим кровавых жертв.

Мебели здесь не было, зато вдоль стен стояли ряды клеток, наполненных кроликами, крысами, белыми мышами, кошками, обезьянами и голубями.

Некоторые из них только ждали опытов, другие уже мучились на пользу науки и человечества. Здесь постоянно можно было видеть судороги предсмертной агонии, широко раскрытые от боли и ужаса глаза, замирающие в конвульсиях лапы, пену, струящуюся сквозь стиснутые белые зубы.

Десять раз в день Хребтов посещал эту комнату. Спокойный, задумчивый, он ходил от клетки к клетке, отмечая в тетради результаты опытов.

Иногда он дотрагивался до какого-нибудь животного, чтобы лучше уяснить симптомы, иногда удовлетворенно улыбался, видя, что опыт дал ожидаемые результаты, но никогда ни тени сожаления не появлялось у него в глазах. Никогда выражение лица не смягчалось жалостью.

Здесь, наедине с животными, он сам производил впечатление зверя; зверя уродливого, мрачного и жестокого.

Следующая за этой комната была отведена под лабораторию и рабочий кабинет, где были произведены самые великие из его открытий. Если Хребтов чувствовал когда-нибудь, к чему-нибудь привязанность, то только к этой комнате. К ней его привязывал прочный, кошачий инстинкт, устанавливающий некоторое общение между человеческою душою и неодушевленными предметами.

В здании университета профессор имел другую лабораторию, обставленную гораздо лучше, более обширную, но той он не любил и вел в ней лишь формальные работы.

Там он не чувствовал себя дома; там нельзя было запереться, нельзя было отделаться от сторожа, взгляд которого раздражал Хребтова, нельзя было вслух ругаться и бить посуду.

Там нельзя было кричать на ассистентов и гнать их из комнаты, как он проделывал дома по своей грубости, которую можно было сносить только во имя любви к науке.

Рядом с лабораторией находилась маленькая комната, отчасти библиотека, отчасти склад стеклянной посуды, а самая тесная, самая поганая клетушка рядом с кухней была отведена для личных потребностей хозяина.

Здесь он спал, одевался, мылся, ел свой обед и ужин.

Здесь он отдыхал и набивал папиросы.

Папиросы Хребтов всегда набивал сам, объясняя это тем, что такое занятие дает лучший отдых после напряженной умственной работы.

На самом же деле, он знал по опыту, что во время набивки папирос ему в голову приходят самые блестящие из его идей и гипотез.

Теперь перед нами выяснилась личность Хребтова, такая серая при всей ее мощи, развитая целиком в одном направлении, даже уродливая, потому что холодный, отвлеченный и сухой ум убил и задавил в ней все человеческое.

Чтобы изобразить в немногих словах духовный облик профессора, я сказал бы, что он состоит из головы сверхчеловека, приставленной к телу животного.

Но не следует думать, что Хребтов был совершенно свободен от человеческих страстишек и слабостей. Я не могу скрыть, что одна из них, самая низменная, самая подлая, имела над ним значительную власть.

Эта страстишка была – сребролюбие.

Не то что бы он был скупцом чистой воды или страдал манией накопления богатства. Просто какой-то инстинкт заставлял его дорожить золотом, хотя оно ему не было нужно, чувствовать удовлетворение по мере того, как сумма сбережений возрастала.

Каждый месяц он откладывал что-нибудь в деревянный, окованный жестью сундучок, стоявший под кроватью. При этом в душе его сладко шевелилось сознание, что многим, многим людям не хватает для полного счастья только пачек ассигнаций, которые он кладет на дно сундука и захлопывает крышкой.

Кроме науки, он любил во всем свете только деньги, но и эти две вещи ценил лишь за то, что они поднимали над толпою его, униженного уродством.

II

Вероятно, любовь к неразрешимым задачам побудила Хребтова взяться за исследование чумных бацилл.

Возможно также, что и сам образ чумы, мрачной, непобедимой и безжалостной, имел в глазах профессора некоторое обаяние. Исключительно сильные, энергичные натуры любят грозные проявления стихийных сил природы. Холодный ужас чумы мог найти отзвуки в угрюмой душе Хребтова.

Как бы то ни было, однажды осенью особнячок на краю Девичьего поля был подвергнут тщательной изоляции и там начались работы с целью отыскать вполне пригодную лечебную и предохраняющую сыворотку против чумы. Возбужденный жаждой нового крупного успеха, профессор взялся за дело с необычайной энергией. Вся его квартира была заполнена культурами бацилл. Десятки опытов производились ежедневно. Сотни животных гибли от пробных прививок, оплачивая своею жизнью каждый шаг вперед.

Хребтов недосыпал, недоедал, осунулся, побледнел и сделался отвратительнее на вид, чем когда-либо.

Однако, несмотря на свою работоспособность, он не мог лично исполнять всех задуманных работ, не мог вдаваться в детали, а предоставлял это помощникам, руководя лишь общим ходом исследования при помощи инстинкта ученого на пути к открытию.

Трое ассистентов, измученные массой работы, сбитые с толку разнообразием опытов, истомленные вечной боязнью заразиться, исполняли его приказания. Но ревнивый профессор не позволял им проникать в систему исследований. Он один имел в своих тетрадях всю совокупность добытых результатов, систематизировал, обобщал, делал выводы. Тетрадки с записями всюду следовали за ним, и нередко кухарка, приходя утром, заставляла его спящим в кресле с таблицами опытов на коленях и кругом на полу. Его фантастическая голова свешивалась на грудь, а морщины умственного напряжения даже во сне прорезывали лоб.

– Ишь ты, – говорила она, – так и не смог оторваться от своих бумажек. Небось, теперь уж скоро рехнется.

И спокойно уходила в кухню, а Хребтов оставался спать в одиночестве лаборатории, где царил призрак чумы, невидимо живущей в закупоренных банках, на объективных стеклах, в крови подвергнутых заражению животных.

Когда ассистенты являлись на работу и будили профессора, он казался им таким же мрачным, как вся окружающая обстановка, где каждый уголок мог скрывать смерть в виде освободившегося из плена бацилла.

Вероятно, поэтому они и придумали для него прозвище «Профессор Чума», имевшее громадный успех в тех кругах, где близко знали Хребтова.

Зимние месяцы шли один за другим, а работа оставалась все такою же напряженной. Ассистенты изнемогали, им казалось, что этому конца не будет. Следя за возрастающею нервностью своего патрона, они утрачивали веру в его гений, начинали бояться, что он наткнулся на неразрешимую задачу, потерял руководящую нить опытов и теперь бросается из стороны в сторону, действуя наудачу, лишь бы не признать себя побежденным.

Каково же было их удивление, когда однажды утром, в начале марта, едва они пришли в лабораторию, профессор заявил им, что исследования окончены.

Ассистенты прямо остоленели.

Как так? Еще вчера не было речи о прекращении работ. Профессор еще ни разу не заикнулся о полученных результатах. Ведь не понапрасну же они трудились?..

Но Хребтов, по-видимому, не собирался давать объяснения. Его поза показывала, что он не имеет ничего больше сообщить и ждет только ухода ассистентов.

Тогда один из них переспросил:

– Так, значит, наша работа кончена?

– Я уже говорил, что кончена! – отозвался профессор, плохо скрывая нетерпение.

– А каковы ее результаты?

Но тут Хребтов заворчал, как цепная собака:

– Результаты? Результаты исследований пока вот тут! – Он хлопнул себя по лбу. – Этого, кажется, достаточно. Через некоторое время выйдет моя книга о чуме, и тогда вы все узнаете. Теперь же рассказывать про результаты было бы слишком долго, а мне время дорого.

И, видя, что ассистенты все еще мнутя, он добавил:

– Нечего говорить, что в предисловии я отмечу ваше сотрудничество и выражу благодарность за него.

После этого им оставалось только уйти, что они и сделали, возмущенные до глубины души обращением профессора. Пройдя шагов сто по улице, все трое сразу остановились и единодушно воскликнули:

– Вот так животное!

После чего продолжали путь, теряясь в догадках по поводу значения сегодняшнего случая.

Достиг ли профессор каких-нибудь результатов? Или ничего не добился и скрывает свою неудачу? А может быть, сошел с ума от напряженной работы и переутомления?

Все три предположения были одинаково вероятны, но какое из них ближе к истине – ассистенты так и не могли решить.

Между тем Хребтов, оставшись один, готовился приступить к самой серьезной части исследования, к опыту, который являлся решительным поединком между ним и чумой и мог иметь своим последствием или гибель ученого, или его полное торжество.

В своих исследованиях он дошел до такого состава сыворотки, который по всем теоретическим данным должен был исцелять от чумы.

Должен был исцелять; но исцелял или нет – можно было определить, только испытавши действие сыворотки на человеке.

Хребтов решил произвести опыт на самом себе.

Такое решение было им принято без всяких колебаний и волнений; оно было прямым логическим следствием всех предыдущих экспериментов над кроликами, крысами и мышами. Когда же дело шло о последовательности опытов, у профессора не могло возникнуть сомнения – нужно их доводить до конца или нет?

Чтобы не прервать цепь фактов, ведущих к открытию, он согласился бы подвергнуть вивисекции родного отца. Такая железная прямолинейность по существу чудовищна, но так как в данном случае Хребтов применил ее к себе, то мы назовем ее героизмом.

Обеспечивши себе полное одиночество до конца опыта отсылкою кухарки в деревню, профессор прежде всего озаботился заготовлением запаса еды, что при его нетребовательности было делом не слишком сложным. Потом принялся наглухо запираť все двери и окна своей квартиры, чтобы бациллы, которыми он себя заразит, не вырвались как-нибудь на свободу.

При этом занятии ему невольно вспомнился его предшественник, немецкий доктор, который, заболев среди опытов чумой, заперся, как теперь Хребтов, и написал на стекле окна предостережение тем, кто мог прийти к нему на помощь.

Что-то дрогнуло в душе у профессора при таком воспоминании, но это было лишь бессознательное, инстинктивное волнение. Сознание же его оставалось невозмутимо спокойным. Он больше думал о технических подробностях прививки, чем о ее последствиях.

Так же методично, как всегда во время опытов, откупорил он склянку с культурою бацилл, произвел заражение у себя на руке, наложил повязку и аккуратно отметил день и час в журнале.

Потом закурил папиросу и стал ходить по комнате. Какое-то тоскливое беспокойство поднималось со дна души вопреки усилиям воли. Он ничего не имел против риска, но казалось невыносимым в течение целого ряда дней ждать результата, сознавая, что носишь внутри себя смерть.

«Хоть бы скорее все шло», – мелькнула у него мысль, но, видя, что начинает распускаться, он переменил направление мыслей и стал думать о великой силе невидимого.

Вот теперь он испытал такую же боль, какую испытывает ребенок при прививке оспы. Даже в технике операции нет разницы, а между тем какая разница в последствиях!

Враждебная, невидимая сила впиалась в его тело. Профессор закрыл глаза, представляя, что теперь в нем происходит. Бактерии сначала зацепились в ране, на краю кровеносных сосудов. Потом поток крови начал их захватывать и нести с собою во мраке постепенно расширяющихся артерий и вен. Как они должны были хорошо себя почувствовать при этом! Может быть, по их прозрачным, слизистым телам пробежала дрожь плотского наслаждения, может быть, их опьяняет запах крови...

Верно лишь то, что ими овладела бешеная потребность размножения.

Мчась во тьме кровеносных сосудов, проникая во все ткани, то проплывая по микроскопическим, как они сами, капиллярам, то крутясь в необозримом пространстве крупных сосудов, то купаясь в горячей, алой влаге артерий, то отдаваясь более спокойному течению венозной крови, они размножаются, размножаются, размножаются.

Их число возрастает в такой прогрессии, какая может представиться лишь воспаленному мозгу сумасшедшего математика.

Секунды кажутся годами по сравнению с быстротою их размножения.

Миллионы – не более как единицы в сравнении с их числом.

Сила вихря, землетрясения, извержения вулкана – ничто перед силою их плодовитости.

Миллионы их гибнут в борьбе со здоровым организмом, а все-таки грозная армия растет и одерживает верх.

Вот они уже укрепились в своих избранных пунктах, внутри желез, переполнили все тело и размножаются, размножаются, размножаются...

Профессор открыл глаза. Голова у него кружилась от этих реальных и вместе фантастических образов, но он преодолел их ужас и сел набивать папиросы.

Довольно неожиданное занятие для человека, который сегодня жив, а завтра должен будет выиграть свою жизнь в кости у судьбы.

Укротитель, положивший голову в пасть льва, имеет такие же основания оставаться спокойным, как и Хребтов в эти минуты, но профессор знал, что чем обыденнее, чем мелочнее занятие, тем более оно способствует приведению души в ее обыденное, полусонное состояние. Он набивал папиросы, и даже руки его нисколько не дрожали, и гильз портил он не больше, чем обыкновенно.

Зато через несколько дней, когда у него появились первые симптомы болезни, душевное равновесие профессора оказалось нарушенным. Тогда перестала помогать и набивка папирос. Им овладело безумное желание сейчас же вспрыснуть себе лечебную сыворотку. Такое сильное желание, что день и ночь с ним приходилось бороться.

Однако ученый восторжествовал и сделал прививку лишь через шесть дней после заражения, дождавшись наступления самых грозных и характерных симптомов.

Следующий затем период был наиболее критическим и тяжелым. Температура повысилась, голова была словно в тумане, странные, тревожные мысли шли на ум.

В этот период Хребтов, никогда раньше не думавший о том, что жизнь прекрасна, осознал и понял, что в ней заключается великое благо. Почему это так, чем хороша жизнь – он не сумел бы объяснить, но чувствовал, что привязан к ней всеми силами своей души.

А когда жар и недомогание достигли своего максимума, им овладело еще одно новое ощущение.

У него проснулась непреодолимая потребность кого-нибудь любить и быть кем-нибудь любимым. Смерть смотрела ему в глаза, но он думал не о ней, а о том, что если бы около него был преданный, ласковый человек, человек, которого можно было бы совсем, совсем не стесняться, то все тревоги, беспокойства, даже боль потеряли бы свою силу.

Он сам не знал, зачем ему нужна чья-нибудь близость. Может быть, он стал бы ласкаться, как ребенок, может быть, предоставил ласкать и успокаивать себя, пожалуй, даже заплакал бы тихими слезами, но, во всяком случае, единственное, чего профессор жаждал в эти минуты, было общение с какою-нибудь человеческой душой.

Беспросветное одиночество, бывшее до сих пор его стихией, вдруг начало давить, терзать бедного Хребтова, вызывая смутные мечты о любви и нежности у него, не умевшего любить, не знавшего, что такое нежность.

Впрочем, все это прошло вместе с болезнью и осталось в памяти лишь как бред минувшей горячки.

Через девять дней после начала опыта успех был уже несомненен. Профессор был на пути к выздоровлению; значит, чума была побеждена и навеки лишена своей мощи.

Для Хребтова наступил момент расплаты за безустанную, напряженную работу и за беззаветную смелость последнего опыта.

Оставалось опубликовать результаты работ, чтобы овладеть великою, всемирною славой. Но он с этим как-то не торопился.

Сложное чувство, смешанное из ревности, человеконенавистничества и самолюбия, мешало ему расстаться со знаменательной тайной.

Пока она была сохранена, он оставался единственным человеком, более сильным, нежели чума. Стоит ее опубликовать, и всякий провинциальный фельдшер начнет пользоваться его открытием, как своим собственным.

К чему же спешить делиться с другими своим могуществом?

Кроме этих ощущений, в конце концов, довольно смутных, была другая причина, задержавшая выход в свет книги о чуме и способе ее излечения.

Железная энергия, не покидавшая профессора, пока цель не была достигнута, теперь значительно ослабела. Он уже не мог, как прежде, работать целыми днями, без передышки, чувствовал во всем организме какую-то расслабленность, утомление, по временам целыми часами сидел без дела или отправлялся бродить по городу, чего раньше с ним никогда не бывало.

Нервы его, после опыта с чумой, никак не могли окрепнуть.

Никогда еще не приходилось ему так определенно чувствовать свое настроение; то его охватывала беспричинная тоска, да такая, что весь мир становился постылым, то непонятное беспокойство гнало его из дома и побуждало ходить без всякой цели из улицы в улицу, то наступали приступы сильного раздражения, когда он был способен вымещать злость даже на неодушевленных предметах.

«Старею, распускаюсь, избаловался», – говорил профессор с горечью, но никак не мог забрать себя в руки.

А тут еще случилась одна встреча, окончательно выбившая его из прежней колеи. Однажды, возвращаясь с лекции в университете, он сел по обыкновению в конку, идущую на Девичье поле.

Сначала конка шла почти пустая, но при каждой остановке в нее кто-нибудь садился. Между прочим, вошли несколько барышень с папками в руках и уселись рядышком в углу, перешептываясь и пересмеиваясь.

Картина щебечущих таким образом молодых созданий бывает обыкновенно в высшей степени трогательна, потому что вперед можно знать, что они шепчут друг другу на ухо вещи,

которые могли бы сказать во всеуслышание, и смеются не потому, чтобы в их разговоре был повод для этого, а потому, что они молоды, здоровы и счастливы.

Но профессор не любил разглядывать публику. К тому же чужой смех действовал ему на нервы. Поэтому он не обращал никакого внимания на компанию барышень, пока не услышал довольно громкий шепот:

– Так это Хребтов, тот... знаменитый.

Голос звучал детским восхищением, как у ребенка, восторгающегося перед клеткой с обезьянами. Взглянувши, профессор встретил пару блестящих, ясных глаз, глядевших на него без всякой церемонии, но и без привычного ему удивления.

Глаза принадлежали восхитительному девичьему личику с полуоткрытым ртом и белокурыми шелковистыми кудрями, выбивавшимися из-под шляпки.

Барышня неотступно глядела на него и была при этом так мила, что даже угрюмый профессор не удержался от улыбки, в ответ на которую она ласково засмеялась.

Ему стало и неловко, и хорошо. Таким бесконечным доверием к жизни, к людям веяло от девушки, от ее свежего личика, от бесцеремонных взглядов, что Хребтову она показалась существом из нового, незнакомого ему мира. Он опустил голову, постарался заняться прерванными мыслями, но они как-то плохо шли на ум, и через минуту он поймал себя в том, что снова глядит на нее.

Конка между тем тряслась, дребезжала всеми своими окнами и шла дальше. То одна, то другая из компании барышень вставала, поспешно целовала подруг и исчезала на площадке. Когда доехали до Плющихи, в вагоне оставалась только та барышня, которая привлекла внимание Хребтова.

Лишившись возможности разговаривать, она, видимо, заскучала; раскрыла папку с нотами, бывшую в руках, что-то там посмотрела, потом захлопнула папку, невнимательным взглядом скользнула по вагону, заметила, что профессор на нее смотрит, и опять ему улыбнулась.

Затем, считая, вероятно, обмен взглядов за достаточное вступление к знакомству, сказала:

– Какая отвратительная погода!

Хребтов, которого дети боялись, а женщины избегали, сначала растерялся, а потом с жаром ответил:

– О да, ужасная! – Хотел еще что-нибудь добавить, но не знал, что сказать, и осекся.

Она засмеялась своим светлым, серебристым смехом; вероятно, ей показалось забавным выражение, с каким профессор сказал свои слова. Потом сделалась очень серьезною и важно спросила:

– Ведь вы профессор Хребтов? Правда? – и, получивши подтверждение, добавила: – Я очень рада, что увидала вас. Про вас так много приходится читать и слышать. Я первый раз в жизни вижу знаменитость!

И, отдавши своей минутной серьезностью дань его научным заслугам, снова начала улыбаться, потому что улыбка была естественным выражением ее лица.

Хребтов кое-как поблагодарил ее за комплимент, потом они перекинулись еще несколькими фразами и наконец простились добрыми друзьями, когда доехали до Девичьего поля.

– Меня зовут Надежда Александровна Крестовская, – сказала она, первая подавая профессору руку. Затем взяла свои ноты, легко соскочила с площадки и быстро пошла по тротуару.

Походка профессора была, наоборот, особенно медленна, так что, прежде чем скрыться в свою берлогу, он успел заметить, в какой дом она вошла.

Конец дня ученый провел беспокойно. Во-первых, работа у него не ладилась, во-вторых, домашняя обстановка казалась противной, надоевшей, невыносимой, в-третьих, он много думал про свою новую знакомую.

Никогда еще ему не приходилось сталкиваться с существом до такой степени противоположным его характеру, настроению, даже его взглядам на жизнь.

Ее искренность непосредственности и приветливость существа, выдавшего в жизни только хорошее, казались настоящим чудом ему, старому медведю, всех подозревавшему в дурных намерениях, не доверявшему ни одному человеку.

– Девчонка, глупый ребенок, – бормотал он, пожимая плечами, между тем как на фоне пыльной, унылой лаборатории перед ним неотступно стояло хорошенькое, смеющееся полудетское личико с капризными золотистыми кудрями.

Это личико не выходило у него из головы до самого вечера, а когда он лег спать и потушил свечку, оно еще яснее стало представляться в темноте, так что профессор долго не спал, ворочался с боку на бок и напрасно старался занять свои мысли чумными бактериями.

Проснулся он с определенным сознанием, что вчера случилось нечто радостное, хорошее. Правда, вспомнивши точно, в чем было дело, он выругался и плюнул, однако покой его был нарушен очень основательно.

Целых два дня прошло у него в мыслях о Надежде Александровне и в досаде на себя. На третий ему удалось успокоиться, почти позабыть свою встречу, а на четвертый он опять увидел Крестовскую, возвращаясь из университета, в тот же час, в той же конке.

Обрадовался при этом ужасно. На него так и пахнуло теплом и весельем от ее милой фигурки; однако не знал, здороваться или нет. Она сама разрешила этот вопрос, пожавши ему руку, как старому знакомому.

После этого они проговорили очень весело и непринужденно от Арбатских ворот до Девичьего поля.

Я не знаю учреждения, более способствующего внезапным знакомствам и сближению, чем московские конки. Идут они медленно, с надрывающим душу звоном и дребезжанием. Концы в них приходится проезжать огромные, то взбираясь на знаменитые московские горы, то спускаясь с них, то мчась изо всех сил, когда к обычной паре лошадей пристегнут еще тройку, то подвигаясь черепашным ходом, когда пара одров и сонный кучер оказываются предоставленными самим себе.

Вот сидишь, трясешься, читаешь от нечего делать объявления, усеивающие потолок, и скучаешь, отчаянно скучаешь. Скука, как известно, служит главным фактором общности в современном мире, а москвичи, вообще говоря, охотники поговорить. Поэтому кончаешь всегда тем, что найдешь себе собеседника по сердцу, с которым пускаешься в разговоры с той непринужденностью, которую вызывает мысль, что, наверное, никогда больше не встретишь сегодняшнего компаньона.

Мне приходилось выслушивать в московской конке целые исповеди от незнакомых людей, соболезновать, давать советы. Однажды был даже случай, что во время переезда от Кудринской площади до Сухаревой башни я уговорил жениться одного молодого человека, который перед этим колебался целых полгода.

Неудивительно поэтому, что Хребтов узнал в конке все подробности жизни Надежды Александровны, этой простой, светлой жизни, богатой только мечтами.

Он узнал, что она учится в консерватории и скоро кончает курс.

Узнал, что голос у нее хорош, но для оперы, пожалуй, слаб.

Узнал (и на это обратил особенное внимание), что она каждый день в четыре часа едет по конке на Девичье поле, возвращаясь из консерватории к замужней сестре, у которой живет.

Кроме того, ему стало известно, что Надежда Александровна очень веселая, что у нее много друзей, что в доме ее сестры собирается много гостей, главным образом молодежи и притом студентов.

Последнее его слегка огорчило. Он так и представил себе фигуру студента-белоподкладочника, который, крутя усы и выпячивая грудь, вертится около этой славной барышни. Непри-

ятная картина! Но облако скоро рассеялось, потому что ее резвая болтовня требовала напряженного внимания, а следя за нею внимательно, нельзя было не поддаться обаянию светлых глаз, красивого личика, свежего рта с жемчужными зубами.

Во время разговора Крестовская часто поправляла выбивающиеся из-под шляпки пряди волос. При этом профессор обратил внимание на красивую, нежную руку.

Чуть ли не первый раз в жизни ему пришлось подметить разницу между мужской рукой и женской, но, тем не менее, он сразу понял всю прелесть последней.

Когда конка дошла до Девичьего поля и им пришлось расстаться, профессор прощался со своею знакомой не без грусти, хотя уже предчувствовал, что они еще встретятся.

С этого дня, в уединенной лаборатории, где до сих пор царил величественный, мрачный призрак чумы, начал царствовать новый образ, образ нежной, веселой и приветливой девушки с солнечным лицом и прядями волос, выбивающимися из-под шляпы.

Если раньше Хребтов думал о ней целых два дня и только на третий смог забыть, то теперь он совсем отдался думам и воспоминаниям о Надежде Александровне.

Они его опьяняли, волновали, дразнили. Они примешивались к его исследованиям над бактериями, к его лекциям; словом, ко всему, чем он ни занимался.

Материала для таких мыслей хватало, потому что каждые два-три дня Хребтов встречался с барышней в конке и потом бесконечно переживал впечатления встреч.

Странно только то, что, постоянно думая об одном, Хребтов старался не задавать себе вопроса, – что это значит. Он заранее стыдился ответа на такой вопрос; он поддавался увлечению, но утешал себя мыслью, что это пустяки, что стоит встряхнуться – и все пройдет.

А между тем сон его становился все беспокойнее и в глазах по временам появлялось выражение, делавшее эту полулюдскую физиономию окончательно похожей на голову зверя...

Недели полторы спустя после начала знакомства, встретившись, по обыкновению, в конке, Крестовская сообщила профессору, что поет в благотворительном концерте и тут же вручила билет, за который он, не без сердечной боли, должен был заплатить несколько рублей.

Эта трата немного отрезвила его и заставила подвергнуть анализу свои чувства.

Придя домой, он положил билет на стол, долго рассматривал его молча, затем уперся руками в бока и с искренним удивлением спросил:

– За каким чертом я поеду в концерт? Чего я там не видал?

Ему до такой степени казалось странною мысль, что он готовится пуститься в свет, что он ничем не мог заняться весь вечер, ругался, плевался, говорил о непростительной слабости характера, принял твердое решение не ехать и лег в постель, полный горячего сожаления об истраченных рублях.

Но утро, как известно, мудренее вечера. Проснувшись, Хребтов уже глядел на дело совсем иначе. Отчего не поехать, раз деньги заплачены. Не пропадать же билету даром? Ведь не дурак он, чтобы бросать деньги на ветер.

И много еще кое-чего нашлось у него в запасе для доказательства необходимости ехать, за исключением, разумеется, чистосердечного признания в желании видеть Крестовскую. В результате публика еще лишь наполовину наполняла зал консерватории, когда там появился Хребтов.

Яркое освещение зала, публика в праздничных нарядах, с праздничными лицами, аромат духов, смешанных с тонким запахом человеческого тела, все это больно ударило его по нервам. Он вдруг до боли почувствовал свое уродство, серость и мешковатость.

Стыдясь своего старого пиджака, стыдясь своего лица, пробрался профессор на место и ждал начала, бросая исподлобья сердитые взгляды по сторонам, как злая, дикая собака, готовая укунить первого, кто к ней подойдет.

Начавшаяся музыка немного развлекла его. Он первый раз был в концерте, но, прослушавши несколько номеров, нашел это малоинтересным.

Когда-то, давно, ему пришлось быть в опере. Там было куда веселее. Были декорации, были пестрые костюмы, на все это приятно было поглядеть, а тут выходят люди, играют, поют и больше ничего. Неужели из-за этого стоит покупать билет, наряжаться и ехать?

И, пробежавши косым взглядом по рядам слушателей, он искренне заподозрил, что все они только притворяются, будто музыка доставляет им наслаждение.

Наконец, на эстраде появилась Надежда Александровна. У Хребтова замерла злость, замолкли все рассуждения. Он впился в нее взглядом, узнавал и не узнавал ее.

Это ее милое, солнечное личико, полное оживления, глядит в зал с эстрады; ее непокорные волосы золотятся надо лбом в лучах электрической люстры, но вместе с тем, насколько она обаятельнее, величественнее и прекраснее молоденькой барышни в конке!

Она похожа на принцессу из сказки. Блестящие складки материи грациозно обливают стройную фигуру, тонкие руки до локтя затянуты перчатками. Она смотрит на людей сверху вниз, и гордая, нервная улыбка бродит по пурпуровым губам.

Хребтов взглянул на нежное молодое тело, сверкавшее сквозь вырез ее платья, и кровь прилила у него к голове. Ему припомнилась восковая красавица в окне парикмахера, дразнившая взгляды обнаженным, пышным телом.

Крестовская пела, раскланивалась в ответ на аплодисменты и снова пела, но Хребтов не слышал ни звука. Он смотрел, и этого было достаточно, чтобы заполнить все его нервы ощущениями. Он видел, как нагибалась при поклонах и снова выпрямлялась ее грациозная фигурка, как напрягалось ее нежное, обнаженное горло при сильных нотах, видел, как жил и дышал вырез ее платья, то бледнея, то заливаясь пурпуром молодой горячей крови.

Он чувствовал, что какое-то огромное ощущение охватывает его с необычайной силой, рассеивает все мысли и наполняет его страданием и счастьем.

Только когда Надежда Александровна скрылась, к нему вернулась способность рассуждать.

«Мне нездоровится, – сказал он, чувствуя, что голова у него кружится, что все тело связано какою-то слабостью. – Это, наверное, от непривычки к концертам. Нужно скорее уйти».

Однако, поглядевши в сторону выхода, решил ждать антракта, потому что побоялся встать, привлекая к себе всеобщее внимание, и пробраться через ряды публики, казавшейся ему враждебной и насмешливой.

Пришлось прослушать еще несколько нумеров, что было для профессора настоящим мучением. Ему неудержимо хотелось скорее скрыться, скорее быть у себя. Смутное, болезненное беспокойство превращало в пытку необходимость сидеть неподвижно и слушать, как бритый господин с жирным и сладким лицом, закатывая глаза, поет чувствительные романсы.

Ах, с каким чувством ругал Хребтов про себя этого певца и всех людей, которые аплодировали ему, подносили букеты, устраивали оvationи.

Наконец наступил желанный момент бегства, так как первое отделение кончилось. Когда он спасался из зала, согнувшись и не глядя по сторонам, его вдруг окликнул голос Надежды Александровны:

– Здравствуйте, профессор!

Она стояла в дверях под руку с каким-то господином, которого отрекомендовала как доктора Михайлова, мужа своей сестры. На ней было то же платье, она была так же прекрасна и вся сияла чудным, молодым волнением.

Начала благодарить Хребтова за то, что он пришел, и не кончила. Спросила, как ему понравилось ее пение, и не дождалась ответа: толпа в зале целиком поглощала ее внимание. Не отдельные лица, а именно вся толпа со своей атмосферой веселья, шума, беззаботности, праздничных нарядов и духов.

Хребтов простоял около нее минут пять. Он рассеянно слушал комплименты Михайлова, который приглашал его как-нибудь зайти к ним и, не отрываясь, смотрел на Крестовскую

тяжелым, воспаленным взглядом. Этот взгляд сильно ее смутил. Она пробовала заговорить с профессором, но он был как во сне и едва отвечал. Пробовала отворачиваться, смотреть по сторонам, но не переставала чувствовать, как в нее вливаются его красные, безумные глаза.

Праздничное настроение начало сменяться в ней ощущением ужаса и гадливости. По счастью, антракт в это время кончился, так что Хребтов волей-неволей должен был уйти.

– Какой он уродливый, – сказала она своему спутнику, как только профессор удалился. – Чистый горилла, только еще противнее!

– Да, но не забывай, что это величайший ум мира! – важно отозвался доктор, который, будучи сам человеком недалеким, с особенно фанатическим поклонением относился ко всем знаменитостям.

А в это время внизу, в швейцарской, Хребтов надевал свои галоши и старался найти в кошельке самую мелкую серебряную монету, чтобы дать на чай швейцару.

III

Любовь выражается в бесконечно разнообразных формах.

Бывает она веселою и радостной, нежной и благоухающей, как прелестный весенний день. Такова любовь здоровых, юных душ на фоне дождя из роз, на фоне ясного, безоблачного неба.

Бывает она знойной, как горячий летний полдень, подчас мучительно знойной, полной горячею страстью, с поцелуями, похожими на укусы, с судорожными объятиями, с расширенными зрачками, с бледными, искаженными лицами.

Бывает любовь нежная, элегическая, полная сладкою грустью серого осеннего дня. Она состоит тогда из печальных улыбок, из поцелуев сквозь слезы, из тихих рокошующих речей, из постоянного предчувствия разлуки, написанного в милых глазах.

Но любовь Хребтова носила совсем иной характер. Она явилась слишком поздно, явилась непрошеною гостьей и была болезненная, уродливая, пугающая и отталкивающая. Она разрушила так хорошо налаженную жизнь профессора, выбила его из колеи, бросила в пучину новых, чуждых, противоречащих складу его характера ощущений, перед лицом которых ум и логика были бессильны.

Этот человек, так обаятельно прекрасный в роли ученого мыслителя, в новой роли влюбленного оказался смешным, уродливым, жалким. Он стал похож на больного зверя, который не может определить причину своего страдания, не может от него избавиться и угрюмо страдает, злобствуя на всех окружающих. Своеобразно сложившаяся жизнь убила в Хребтове много человеческих черт. Поэтому, полюбивши, он оказался глубоко беспомощным. Ни разобраться в своих ощущениях, ни бороться с ними он не мог.

Они преследовали его непрерывно, тревожили, мучили, как легион бесов, и очень часто, придя в отчаяние, он метался по лаборатории с ревом и ругательствами, словно настоящий бесноватый.

Дело доходило до того, что профессор начинал чувствовать острую ненависть к самому себе; пытаясь забыться, целые ночи бегал по улицам, запирался в лаборатории и работал без перерыва с утра до ночи, каждую минуту усилием воли возвращая непослушную мысль к предмету занятий.

Но ничто не помогало. Страсть была сильнее всего. Она жила в нем, как его второе «я», гораздо более сильное, чем воля и рассудок. Прежний, нормальный Хребтов злился, ругался, сопротивлялся руками и ногами, но новый Хребтов или диавол, который в него вселился, делал свое дело.

Например, выходя на улицу после концерта, профессор твердо решил не пользоваться приглашением доктора Михайлова. Но два ближайших дня прошли в борьбе между принятым решением и желанием повидать Крестовскую, а на третий – он попросту увидал, что не пойти – невозможно.

Взял шляпу, надел пальто и отправился.

У доктора приняли его с почетом и радостью. Не знали, куда посадить, какими разговорами занять. Надежда Александровна была очень горда, что доставила семье такого гостя, и, чтобы доказать, что честь посещения знаменитости принадлежит главным образом ей, не отходила от него целый вечер. Несмотря на это, профессор провел время довольно мучительно.

Всякий, кому приходилось переживать муки застенчивости, поймет это. Ведь Хребтов чуть ли ни первый раз в жизни был в гостях. Слава ученого не давала здесь ему почвы под ногами; он совершенно не знал, как и о чем разговаривать, не знал, как сидеть, пить чай, как прощаться и уходить.

Его преследовала уверенность, что он делает все это иначе, чем полагается. Даже крайняя почтительность хозяина не могла придать ему апломба, и выйдя от Михайловых, он почувствовал себя как человек, сбросивший с плеч большую тяжесть.

– Уф... другой раз калачом не заманишь! – пробормотал он, облегченно вздыхая.

Однако в то же время где-то в глубине души мелькнуло сознание, что, пожалуй, он еще не раз вернется в этот дом. Так пьяница дает торжественное обещание никогда не брать в рот капли спиртного, а в то же время знает, что обещание будет нарушено.

Действительно, несколько ближайших дней прошло в томительном беспокойстве, в тоске и злобе против всего мира. Занятия не клеились, из опытов ничего не выходило, профессор чаще, чем когда-либо, бил лабораторную посуду, а кухарке его пришлось выслушать в течение двух дней годовую порцию ругательств.

Наконец он почувствовал, что дальше так продолжаться не может, что необходимо пови-
дать Крестовскую.

Тогда он пошел к Михайловым второй раз.

Третий раз его тянуло еще сильнее, а внутренняя борьба была не такой энергичной, и кончилось тем, что Хребтов сделался постоянным посетителем семьи доктора Михайлова.

Ближайшим последствием этого было то, что он потерял в ее глазах прелесть новизны. Женщины первые перестали видеть вокруг его головы ореол великого человека и, оценивая Хребтова, как обыкновенного знакомого, нашли его противным, скучным, неловким, вообще чем-то вроде балласта среди своих посетителей.

Надежда Александровна перестала им интересоваться. Ее сестра была настолько любезна, насколько требовало гостеприимство. Один доктор по-прежнему млел от радости, запросто принимая у себя «самого» Хребтова. Но его-то как раз профессор ненавидел до глубины души за вечное приставание с научными разговорами.

Есть особый оттенок настроения, когда по внешности человека видно, что он зол и в то же время чувствует себя глубоко несчастным. Появляясь в обществе, Хребтов имел именно такой вид, несмотря на то что общество, собиравшееся у Михайловых, было очень симпатичное и веселое. Оно состояло, по преимуществу, из молодых людей, жизнерадостных, шумливых, связанных между собой теснейшими симпатиями, поэтому чуждых стеснения.

Легко себе представить, каким диссонансом являлся среди них профессор.

Мрачный, уродливый, молчаливый, неподвижно сидел он целыми вечерами в углу, следя глазами за Надеждой Александровной, не обращая внимания на раздающийся кругом разговор, шутки и смех.

При взгляде на него каждый невольно спрашивал себя: «Зачем этот человек здесь?» И всякий чувствовал, что присутствие Хребтова отравляет веселье, стесняет непринужденность, прогоняет беззаботность, как присутствие мумии на веселом пиру.

Не чувствовал этого только сам профессор. Будь он немного более опытен в светских отношениях, он постарался бы, конечно, вести себя иначе, но во всем, что выходило за пределы науки, он был дикарем или ребенком, так что совершенно не отдавал себе отчета в том, как к нему относятся окружающие.

Понятие о необходимости лгать, притворяться, симулировать какое-либо настроение совершенно у него отсутствовало. Он был глубоко непосредствен, делал только то, что ему хотелось, и в гостиной, среди шумного общества, или при чайном столе, под гул перекрестных разговоров, оставался обыкновенным, домашним Хребтовым.

Этого было достаточно, чтобы создать вокруг него атмосферу неприязненной иронии. Европейская слава, научные заслуги не спасли его от этого, а когда окружающие заметили, как он смотрит на Надежду Александровну, то и последнее уважение к нему пропало.

Мы все бываем влюблены, но ничто не подрывает в наших глазах репутацию ближнего так сильно, как известие, что он влюблен. Это кажется нам признаком величайшей слабости,

чуть ли ни глупости, мы сейчас же начинаем относиться свысока к такому человеку. Всякий дурак считает себя вправе смеяться над влюбленным, как бы тот ни был умен.

Бедный Хребтов! Всю жизнь люди его чуждались, но он, гордый и сильный, шел мимо них, отвечая нелюдимостью и злобой. Наконец, он вошел в их круг, и что же? Только для того, чтобы сделаться предметом насмешек.

Гений из гениев у себя в лаборатории, человек, силе которого покорялась природа, предмет уважения всего мира, кончивши работу и придя к Михайловым, он из титана превращался в шута.

Студенты и гимназистки, курсистки и консерваторки приветствовали его появление скрытыми смешками и шепотом:

- А, наш Ромео! Какой он веселый!
- Вот он, влюбленный горилла!.. Господа, он не кусается?
- Спросите у Надежды Александровны.
- Наденька, я вам завидую. Такого поклонника можно показывать за деньги.

Каждый спешил сказать хорошую или плохую остроту на его счет, но Хребтов ничего не замечал. Он бесконечно мало интересовался этою кучкой жужжащих людей. Рассеянно пожимал всем руки и усаживался в угол так, чтобы можно было следить за Крестовской.

Обыкновенно кто-нибудь из хозяев считал необходимым обменяться с ним, для приличия, несколькими фразами. Затем его оставляли в покое, и он молчал до конца вечера, радуясь, что его не тревожат.

Было в его ощущениях нечто похожее на ощущения морфиномана. Пока он видел Надежду Александровну, слышал ее голос, – весь организм его жил особенной, полной и радостной жизнью. Что-то трепетало в нем, какие-то неясные ощущения наполняли душу.

Но едва кончался вечер и профессор уходил от Михайловых, он просыпался, возвращаясь к обычной, скучной и тяжелой жизни. Он начинал чувствовать тяжесть себя самого, а душа была мучительно пустою. И потом все утра, все дни, все вечера он тосковал по неопределенным, сладким ощущениям.

Конечно, такое положение вещей не могло тянуться долго. Оно было ненормальным, болезненным, а болезни принимают затяжной характер только у слабых натур. У сильных они разражаются быстрыми, бурными кризисами. Так говорит медицина человеческого тела; медицина человеческой души могла бы сказать то же самое.

Поэтому Хребтов, по своему характеру неспособный к платоническому чувству, не мог долго мучиться и вздыхать в роли пассивного влюбленного. Должен был наступить кризис и толкнуть его на дорогу активной страсти, не замечающей препятствий, не советуемой с разумом, превращающей холодного мыслителя в маниака.

Такой перелом, после которого чувство становится хозяином человека, произошел в Хребтове месяца через два после первого знакомства с Крестовской.

Это было в начале мая. Возвращаясь поздно вечером от Михайловых, он соблазнился чудной погодой и долго пробродил вокруг Девичьего поля, охваченный волнением, которого сам не мог понять, гонимый беспокойством, с которым не мог справиться. Сердце у него билось, как у шестнадцатилетнего юноши, лицо горело, словно от лихорадки.

Эти темные, теплые майские ночи имеют удивительное свойство выбивать человека из колеи, заставляя мечтать даже самых прозаических людей. Они дразнят чувственность теплыми объятиями нежного воздуха, действуют на нервы глубокою тишиной и темнотою, вызывают мистическое настроение бесконечностью глубины своего неба.

Такая ночь врывается за человеком в комнату, отгоняет сон, создает атмосферу таинственного, нереального мира, заставляет пережить, перечувствовать с замиранием сердца тысячу вещей, которые назавтра кажутся глупыми и смешными.

Неудивительно поэтому, что именно в эту ночь Хребтов вступил в последнюю борьбу с овладевшей им страстью, в борьбу, результатом которой было полное поражение.

Вернувшись домой, он не зажег лампы и проходил по темной лаборатории от вечера до рассвета, прислушиваясь к неясным ночным звукам, напрасно придумывая способ уйти из-под власти того, что толкало его к Надежде Александровне.

Он призывал на помощь самолюбие, – свое дьявольское самолюбие, развившееся в силу всеобщего отвращения, которое его окружало с детства и за которое он отомстил своим успехом.

Но самолюбие не могло бороться со страстью. Он ясно чувствовал, что поступится чем угодно, что пойдет в рабство, лишь бы добиться обладания любимой женщиной.

Он призывал на помощь долголетнюю привычку к уединенной, аскетической жизни, к трезвой работе, направленной на предметы высшего порядка. Но прошлая жизнь вставала перед ним такой бесконечно серой, скучной и печальной, что он сам отступал от нее с содроганием.

Он призывал на помощь свой ум, свою стальную логику, но напрасно.

Этот ум, могучий, светлый, ясный, оказывался бессильным, не мог выставить доводов достаточно сильных, чтобы заставить смолкнуть страсть.

Едва он заканчивал свое логическое построение, едва говорил, что Хребтову поздно любить, что это смешно и глупо, как в душе профессора другой голос, более сильный, возражал, что не любить – невозможно.

Так что, когда наступил рассвет, у Хребтова не осталось нерешенных вопросов. Он примирился с тем, что в данный момент для него нет на свете ничего важного и дорогого, кроме Надежды Александровны, что вся жизнь его – в ней и что все силы его должны быть направлены на достижение обладания ею.

Другой на его месте понял бы, как это невозможно, но ведь Хребтов был ребенком в самых элементарных житейских вопросах. Чем больше он думал о женитьбе на Крестовской, тем более этот брак казался ему возможным.

Он знаменит, имеет свои сбережения, которые хоть невелики, но покажутся ей богатством после жизни из милости у родственников.

Правда, она его не любит, но, кажется, относится к нему симпатично. Мало ли браков заключается без любви! Говорят даже, что такие бывают самыми счастливыми.

Первый раз профессору пришла мысль, что, как жених, он представляет хорошую партию. Это обстоятельство доставило ему такое удовлетворение, будто он открыл у себя новый талант.

И усевшись, наконец, потому что ноги заболели от бесконечной ходьбы взад и вперед, он погрузился в дальнейшее развитие своих планов, на каждом шагу пожимая плечами и с улыбкою спрашивая самого себя: «Отчего же нет? Чем я хуже других?»

Бедное чудовище! Никогда еще мечты любви не рождались в более уродливой голове; никогда еще майская ночь не шептала свою опасную сказку более отвратительному созданию!..

Может быть, если бы кто-нибудь принес зеркало и поставил его внезапно перед профессором, его счастливая уверенность пропала бы, но зеркала в комнате не было, сам же он, увлеченный блестящими проектами, забыл про свою наружность или не отдавал себе отчета в том, до какой степени она ужасна. По крайней мере, ложась спать в пять часов утра, он чувствовал себя спокойным, уверенным, счастливым, и его смущала только забота о том, как бы подальше сделать предложение.

Впрочем, мысль его часто перескакивала через эту скучную процедуру и начинала рисовать все прелести обладания молодою, обворожительной девушкой.

Да, как это ни странно, профессор Хребтов вдруг научился мечтать и мечтал, глядя на яркий четырехугольник солнечного света на полу около постели до тех пор, пока не заснул сладким, крепким сном.

Через несколько часов, когда солнечное пятно, постепенно перебираясь от стула с ворохом смятого платья к паре стоптанных туфель и от туфель к постели с грубым, несвежим бельем, дошло наконец до лица Хребтова, он проснулся и сразу соскочил с кровати, как человек, которого и во сне не покидало волнение.

Сначала бессмысленно оглядывался кругом, потом припомнил, что ему предстоит сделать сегодня предложение, и при этой мысли сразу сел обратно на постель.

Как он ни расхрабрился накануне, все же задуманное дело показалось ему теперь чрезвычайно трудным.

Понадобилось по крайней мере пять минут размышления, прежде чем он махнул рукою и, сказав: «Все равно, надо это кончить!» – начал одеваться.

Одевался, разумеется, не как-нибудь, а с особым старанием. Почистил пиджак, приказал вычистить сапоги, скрепя сердце заглянул в зеркало и нашел, что его обычная прическа – пряди растрепанных волос на полуобнаженном черепе – нехороша, облил голову водой и тщательно пригладил все космы.

Получилось еще хуже – голова выглядела как облизанная. Он попытался опять взлохматить волосы, но, смоченные, они висели какими-то нелепыми косицами.

Профессор окончательно растерялся и почувствовал себя глубоко беспомощным.

Ведь не ждать же, пока волосы высохнут?..

По счастью, другие принадлежности туалета отвлекли его внимание, так что он совершенно забыл о прическе.

Его единственный пиджак был уже довольно поношен. На нем не хватало целого ряда пуговиц. Галстук был черный, вытертый по краям, что, пожалуй, не подходило для жениха.

Сначала профессор думал поехать в город и там одеться заново, потом решил, что такая отсрочка была бы невыносимой, закончил туалет как попало и отправился в путь.

Незачем описывать, что он пережил по дороге. Каждому известно по собственному опыту это состояние, когда время тянется с убийственной медленностью, когда расстояние от одной улицы до другой превращается в бесконечно длинную дорогу, когда человек в течение одной минуты десять раз жалеет, что живет на свете.

Никакая дисциплина воли не может побороть такое волнение. Хребтов дрожал с головы до ног, стоя перед знакомою дверью. По спине пробежал мороз, он задышался, хотя пробежал всего десяток ступеней.

Дверь открылась. Толстая баба в платке – типичная прислуга небогатых московских домов, – с удивлением поглядела на раннего посетителя.

– Барышня дома?

– Дома. Собирается в консерваторию. А что это вы, барин, такой бледный? Иль что случилось?

Хребтов даже не обратил внимания на последний вопрос. Он близко подошел к бабе, говоря самым убедительным тоном, на какой был способен:

– Скажи барышне, что я непременно хочу поговорить с нею наедине. Понимаешь, непременно наедине. Скажи, что очень важное дело.

Прислуга, заинтересованная до глубины своей сплетнической души, побоялась расспрашивать и зашлепала туфлями, отправляясь с докладом. Хребтов же прошел в гостиную.

Знакомый вид этой комнаты вдруг поразил его, как будто, носясь в мире грез, он встретил уголок привычной, прозаической действительности. Вчерашний день, кажущийся таким далеким вследствие бессонной ночи, припоминался ему при взгляде на подробности обстановки.

Вот на этом кресле он сидел вчера, и все кругом было так просто, обыденно, жизнь текла такой славной, мирной колеей.

«Господи, и зачем это я?..» – думает он испуганно, но в то же время чувствует, что возврата нет, что уже и сам он не может изменить принятого намерения, что сейчас, здесь, все должно решиться. Это необходимо; это неизбежно!

Бессонная ночь, мечты, расчеты, соображения – все это уплыло в даль, словно стерлось и потускнело. Осталось только принятое решение, которое как внешняя сила управляет им, потому что он слишком взволнован, слишком растерялся, чтобы изменить его или принять новое.

Да и времени нет на размышление – за дверью слышен шорох, легкие шаги. Это она. Хребтов чувствует, что силы покидают его. Он падает в кресло. Как он ни силен характером, но и у него кружится голова при мысли, что вот сейчас, в этой комнате, он встретится лицом к лицу с собственной судьбой.

Дверь отворяется, и входит Надежда Александровна. Она старается казаться спокойной, но на ее детски-выразительном лице можно прочесть смущение и даже страх перед объяснением, характер которого она угадывает.

Они оба как во сне. Здороваются, с трудом произнося какие-то привычные слова, потом садятся. Он долго на нее смотрит и чувствует, что его сомнения разлетелись, что все кругом куда-то исчезло, словно провалилось. Исчезла и комната, и освещенная солнцем улица за окнами, исчез весь мир, осталась только эта чудная женщина, которую он любит каждой мыслью, каждым нервом, каждой фиброй своего тела.

С трудом удается ему отыскать в своей памяти подходящие слова. Когда он заговорил, его голос поразил его самого хрипящим, сдавленным, нечеловеческим звуком.

– Я пришел, чтобы сказать вещь, которая, может быть, удивит вас, если вы сами ничего не заметили. Я долго думал, долго боролся с собою, прежде чем прийти... У меня нет большой надежды на благоприятный ответ, но молчать дальше я не в состоянии. Мне кажется, вы не обидитесь, если я стану говорить совершенно искренне...

Он смолкает, ожидая какого-нибудь поощрения, но напрасно. Ни одного звука, ни одного слова, ни одного взгляда с ее стороны. Видно только, что она покраснела и не знает, куда деваться от волнения.

Хребтов продолжает:

– Может быть, я говорю неясно, но вещь, которую хочу сказать, очень проста. Я люблю вас, Надежда Александровна, и жить без вас для меня невозможно.

Она вздрагивает и инстинктивным жестом отодвигается от него подальше. Но он, ободренный тем, что самое трудное слово наконец сказано, начинает говорить свободнее и горячее.

– Я никогда не любил раньше, на этот же раз люблю безумно. Все ночи напролет думаю о вас. Для меня ни в чем нет больше интереса. Мне нужны вы и больше ничего на свете...

Его руки делают какой-то нелепый жест в воздухе и падают на колени. Наступает минута молчания.

Крестовская встает, стараясь не глядеть на профессора, потому что лицо его в этот момент отвратительнее, чем когда-либо.

Голос ее звучит обидой, когда она произносит:

– Но ведь не думаете же вы, что я вас люблю!

Однако эти слова не обескураживают Хребтова. Он и раньше знал, что она его не любит. Он не смеет рассчитывать на любовь. Он пришел просить только дружбы, доверия, уважения. Он хочет, чтобы она позволила ему сделать ее счастливой. Он поделится с нею своей славой, он окружит ее роскошью, даст в ее распоряжение много денег. Разве только те браки бывают счастливы, которые совершаются по любви?

Напоминание о деньгах показалось Крестовской оскорблением. Последние остатки доброго чувства к несчастному, которое она принесла с собою в эту комнату, исчезают. Она уже не отвертывается от профессора, жалея его уродство, а смотрит на него прямо, радуясь его безобразию, потому что весь он стал ей противен и гадок.

Но он этого не замечает. Его состояние близко к экстазу. Ему так необходимо убедить ее, что, исчерпавши все доводы, он повторяет одно и то же по несколько раз, произносит какие-то бессмысленные фразы, отрывки мыслей, прошедших через его голову в течение прошлой ночи.

Он говорит, размахивая руками, тысяча гримас сменяется у него на лице. Его уродливый корпус паука раскачивается, изгибается, постепенно приближаясь к ней.

И Надежда Александровна чувствует, что он полон безумным желанием обладать ею. Такое ощущение вызывает у нее страшный кошмар. Здесь нет уже Хребтова, знакомого, смешного, неуклюжего, хотя несимпатичного, но заслуживающего сожаления. Здесь какой-то фантастический урод говорит хриплым голосом и протягивает к ней руки. Это огромный паук с глазами, полными бешеной страсти, хочет ее схватить.

С ужасом отскакивает она от него и ее восклицание звучит, как крик погибающей:

– Нет... нет... ни за что!

Он останавливается как вкопанный. Ее голос и движения говорят о глубоком отвращении. Значит, надежды нет... значит...

Положение вещей сразу становится для него ясным, но оно слишком ужасно, чтобы можно было с ним примириться.

Хребтов падает на колени. Слезы начинают течь из глаз, рыдания разрывают грудь.

Он чувствует, что вот здесь, перед ним, открывается могила. Хуже могилы – холодная, глубокая безнадежность. На него веет ужасом бесконечных страданий, и, хотя разум говорит, что надежды нет, животный инстинкт приказывает ему ползать на коленях, просить, плакать.

Это бессознательный взрыв мольбы, и под его влиянием уродство профессора достигает своего предела.

Крестовская глядит на него, как зачарованная; все происходящее так ужасно, так отвратительно, что кажется сном. Чувство действительности начинает покидать ее, сменяясь безумным страхом.

Хребтов рыдает и протягивает руки, она с ужасом отбегает в другой угол. Он следует за нею, она начинает метаться по комнате, не находя дверей, слишком напуганная, чтобы догадаться крикнуть, близкая к обмороку.

Длинные лапы паука протягиваются за нею. Хриплый голос, прерывающийся всхлипываниями, говорит о любви, о страсти, о безумии. Два глаза на искаженном лице горят, как глаза животного.

Она все убегает, он все ее преследует. Слова перестали вырываться из его горла. Он полон лишь одним желанием поймать ее... схватить...

Ни он, ни она больше не рассуждают. Кошмар стал действительностью. Паук гонится за жертвою. Долгие века культуры внезапно куда-то исчезли; вместо них остались первородные элементы животного организма – страсть и ужас.

Но в эту минуту отворяется дверь и входит доктор. Его невзрачная, незначительная фигура производит громадное действие; она переносит их из мира кошмаров в мир действительности. Она дает их нервам толчок, пробуждающий от галлюцинации к сознанию.

Надежда Александровна бросается к вошедшему и, схватившись за него, разражается нервными рыданиями.

Хребтов, тяжело дыша, прислоняется к стене и сжимает виски ладонями.

А доктор, растерявшийся до последней степени, спрашивает самым обыкновенным голосом:

– Ради Бога, господа, что здесь случилось?

Сначала вопрос остается без ответа.

В комнате слышны только рыдания девушки. Доктор что-то бормочет, пытается ее успокоить, но напрасно.

Проходит несколько тяжелых минут.

Хребтов делает движение, чтобы уйти, но в это время Крестовская перестает рыдать и бросается к нему в порыве слепого, истерического гнева.

– Чудовище, гадина, как вы осмелились!.. Урод, паук...

Она протягивает к нему с угрозой свои тонкие руки, она осыпает его всеми оскорблениями, какие может найти. С жестокостью обезумевшей от гнева женщины она кричит, что он не человек, что одно его прикосновение возбуждает отвращение, что один взгляд оскорбляет.

Глаза у нее блестят слезами и гневом. Она вся дрожит, вся пылает, так и кажется, что она сейчас бросится на обидчика.

И профессор медленно, неуклюже, как полураздавленный гад, выползает из комнаты, пятясь назад, не сводя глаз с Крестовской. Только затворяя за собою дверь, он схватывает последним взглядом фигуру доктора, стоящего в глубине комнаты с открытым ртом и выпученными глазами.

IV

Выскочив из квартиры Михайловых, Хребтов стремительно побежал домой. Ему мучительно хотелось спрятать свою скорбь и обиду в какой-нибудь темный угол. Он чувствовал, что если запрет все двери, опустит шторы у окон и закутается с головой в одеяло, то получит облегчение.

И действительно, едва бросившись на постель, он сейчас же заснул. Заснул каменным сном отчаяния, как спят люди, нервная сила которых исчерпана страшным потрясением.

Спал до вечера, вечером же проснулся и первым делом пожалел об этом, потому что все вокруг было невыносимо противно, а на душе лежал тяжелый гнет.

Медленно поднялся с постели, сам не зная для чего перетащился в лабораторию, и здесь, усевшись в любимое кресло, предался своим думам. Но чем больше думал, тем печальнее представлялось его положение: с одной стороны, разбитые мечты о будущем, осуждение на вечно серое, ничем не заполненное существование, с другой – позор утренней сцены.

Если удастся забыть женщину, то уж унижения он во всяком случае не забудет!... Каждый человеческий взгляд станет ему напоминать про его позор.

И при мысли о том, как он был смешон, отвратителен, безобразен, горячая кровь залила лицо профессора. Он сорвался с кресла и забегал по комнате.

Завтра же все сплетники и сплетницы города будут знать о том, что произошло. Сколько толков, анекдотов, рассказов! Клеймо прирожденного уродства, которое он носил всю жизнь, – ничто перед тем, каким его заклеят теперь.

Он чувствовал себя, как выставленный к позорному столбу. Ему казалось, что он видит тысячи смеющихся лиц, тысячи пальцев, которые на него указывают, слышит гул ругательств и насмешек, бесконечный, как шум моря.

Страшная злоба поднялась со дна его души в ответ на такие мысли. Если бы можно было уничтожить всех этих людей! Всех, всех, как можно больше! Если бы можно было губить направо и налево, пока хватит злобы, чтобы в чужих страданиях утопить свои собственные, чтобы быть не смешным, а страшным!

Но он только смешон, один из всех людей, отмеченный печатью уродства и всеобщего отвращения.

Вот там, в городе, везде кругом, живут сотни тысяч людей – и каждого кто-нибудь да любит. Только он, он...

Профессор снова упал в кресло. Ему хотелось плакать и кусаться. Печаль и злоба поддерживали в нем друг друга.

Вдруг из соседней комнаты донеслось тихое, настойчивое мяуканье. Оно раздавалось около дверей. Очевидно, одна из предназначенных для опытов кошек освободилась и искала выхода, так как была голодна.

Среди мертвенной тишины мяуканье звучало невыносимо раздражающе. В нем слышался призыв, отчаяние и злость, гнусная злость кошки.

Хребтов сначала только морщился, но постепенно непрерывающийся звук все сильнее и сильнее действовал на него. Наконец, впадши в ярость, он схватил стоявшую в углу палку и направился к дверям.

Едва он их открыл, сквозь щель просунулась серая голова с парой желтых, холодных глаз, снизу вверх пристально взглянувших в лицо профессору. За голову неуживоко пролезло в дверь и туловище на мягких, неслышно ступающих лапах.

Животное остановилось, как бы обдумывая свое положение, но в это время Хребтов размахнулся и что было силы ударил по нему палкой.

Удар сломал кошке позвоночник. Она опрокинулась, потом поднялась и с раздирающим душу криком поползла на одних передних лапах, волоча зад.

Хребтов снова ударил. Он ощущал наслаждение, смешанное с ужасом. Он бил изо всех сил и, пока бил, на губах его играла судорога, похожая на улыбку.

Через минуту кошка была мертва. Ее изломанный труп лежал, словно мешок, покрытый серой шерстью. Лишь на месте разбитого глаза краснело кровавое пятно.

Профессор, не выпуская палки из рук, прислонился к стене, потому что у него закружилась голова. Ему вспомнилось, что когда-то, в детстве, быть может, еще до поступления в гимназию, бегая по двору, он поймал бездомную кошку. Он спрятал ее, как сокровище, под ящиком в деревянном сарае, а когда наступил вечер и никого не было вокруг дома, отнес ее в палисадник и там повесил в углу, на заборе. Тогда он искренне наслаждался муками животного и еще долго потом сладострастно вздрагивал, вспоминая, как она корчилась.

С тех пор, во время опытов, он убивал многое множество животных, но никогда воспоминание о первом убийстве не являлось к нему. Только теперь оно воскресло во всех подробностях, потому что тогда и теперь ощущения были одинаковы. Забитый, жалкий мальчишка испытывал совершенно такую же сумасшедшую радость, злобное упоение при виде страданий, как и знаменитый человек науки. И для забитого мальчишки весь мир был таким же чуждым, враждебным, как для великого ученого, и ненависть к людям, возникшую у мальчишки в ответ на щелчки, пинки, ругательства и насмешки, профессор сохранил до сих пор в своей груди. Только она выросла и оформилась. Теперь он ненавидит людей за то, что отделен от них своим уродством, как неприступною стеной. Ненавидит за то, что они любят, радуются и смеются, а для него это недоступно. Ненавидит за то, что первый раз, когда он пошел навстречу человеку с открытым сердцем, с протянутой рукою, он получил в ответ оскорбление хуже пощечины.

Охваченный новою яростью, обидой и скорбью, он снова зашагал по комнате. Но вид убитой кошки был для него невыносим, ему было стыдно за эту вспышку мелкой, подлой жестокости. Чтобы не видеть трупа, он ушел из дома и целый вечер бродил по городу, не обращая внимания на дорогу, не оглядываясь по сторонам, стараясь заглушить душевную муку физическим утомлением.

Около полуночи он оказался на тротуаре против ресторана «Эрмитаж». Оттуда доносились музыка, лились потоки света. Подумавши, что туда можно войти и сесть за стол, Хребтов почувствовал такую усталость, что и в самом деле зашел.

Большой зал сиял электрическими люстрами, белыми скатертями столов, хрустальной посудой. Посетителей было много; гул разговоров смешивался со звуками музыки в душном воздухе, пропитанном запахом еды.

Прежде Хребтов почувствовал бы себя стесненным в такой обстановке, но теперь его нервы были слишком взвинчены. Застенчивость куда-то исчезла, и он испытывал удовольствие, подставляя под людские взгляды свою ужасную физиономию, дышащую злобой.

Занявши место в дальнем углу комнаты, он даже немного успокоился, отвлекся от своих мыслей, наблюдая за публикой. Сколько веселья было разлито по залу! Сколько дружеских разговоров и жестов, сколько нежных женских улыбок удалось ему подметить!

Ему казалось, что здесь, кроме него, нет несчастных людей, что здесь собрались представители чуждой ему расы, беспрерывно наслаждающейся счастьем, весельем, любовью и дружбой.

– Погодите, проклятые! – пробормотал он, сжимая кулаки в порыве зверской зависти, хотя и сам не знал, что значит эта угроза.

Вдруг рядом выросла чья-то тень.

Хребтов перевел глаза и увидел молодого человека, очень прилично одетого, но, судя по бледности лица, по неуверенным жестам, порядочно пьяного.

– Мое почтение, профессор! – говорил он, протягивая руку.

Профессор машинально поздоровался, выражая всем своим видом недоумение. Он никак не мог понять, откуда у него взялся такой знакомый.

Молодой человек заметил колебание Хребтова и рассмеялся.

– Что, не узнаете? Немудрено. Если позволите присесть к столику, я вам сейчас объясню, кто я и откуда вас знаю.

Он тяжело уселся на стул и продолжал:

– Я, видите ли, бывший студент Московского университета. Значит, из тех, кого вы в свое время мучили. Но я злобы за это против вас не питаю. Такой человек, как вы, может доставить себе удовольствие помучить десяток-другой студентов. То, что составляет грех у простого смертного, у гения носит название маленькой привычки.

Хребтов с любопытством разглядывал неожиданного собеседника и думал, что, пожалуй, стоит вступить с ним в разговор, чтобы как-нибудь убить время, пока будет здесь сидеть и отдыхать.

Собеседник же рассмеялся собственным словам и небрежно продолжал:

– Да, гений – великая вещь. Хотя, говоря откровенно, я настолько же восхищаюсь гениальными людьми, насколько презираю их произведения.

– Ну, это нелогично, – отозвался профессор.

Тот только пожал плечами.

– Этого вы мне не говорите; я, видите ли, по призванию пьяница, от юности занимаюсь только этим делом, так что, несмотря на всю вашу обработку в университете, ничего не знаю и не умею, но логика у меня все-таки есть. Я ее теряю только после третьей бутылки, а сегодня выпил две, да и то не один.

Он с трудом закурил на свечке дрожавшую в руке папиросу и пустился разглагольствовать, почти не глядя на профессора.

– Логика – это моя специальность. Когда я родился, пришла к моей колыбели старая, сердитая колдунья и говорит: «Я хочу сделать этого ребенка на всю жизнь несчастным, для чего дарю ему способность логического мышления». Поворожила, поворожила и ушла, а я стал на всю жизнь несчастным человеком... Вот вы говорите – логики нет; а на самом деле, слишком много логики. Оттого я и пьян каждый день. Разве может быть что-нибудь более логичное, нежели пьянство? Жизнь скучна, с какого конца ее не возьми, а вино веселит. Значит, пей, душа моя, пей, сколько можешь. Пей и предавайся мечтам. Вывод простой и ясный.

Он затаился несколько раз своею папиросой и мечтательно поглядел на профессора.

– Вот, вы говорите про гениев и их произведения; я вам и отвечаю. Гениев нельзя не уважать. Это своего рода феномен, а за феноменов даже на ярмарках деньги платят, чтобы их поглядеть. Если платят деньги, чтобы поглядеть уродливо толстую женщину, то как же не увлечься уродливо умным мужчиной? Я им и увлекаюсь, увлекаюсь от всей души, а что произведения ваши не заслуживают уважения – это другое дело. Сказать по правде, я прямо-таки считаю все ваши открытия, усовершенствования, изобретения вредными.

Хребтов не отдавал себе отчета, пьян ли этот человек настолько, что говорит несообразности, или у него есть какая-нибудь своя, оригинальная теория. Во всяком случае, он слушал охотно, потому что после безумного дня у него теперь появилась расслабленность, приковывавшая его к удобной позе на мягком диване, к шуму голосов и музыки, отвлекавшему от дум, к теплой, светлой, веселой комнате.

Он только спросил:

– Почему это вам вздумалось говорить про гениальность?

– Да потому, что это ваша специальность. Когда я встречаю актера – говорю с ним про театр, со спортсменом – про лошадей, с попом – про религию, с женщиной – про любовь, когда же разговариваю с гением – завожу разговор о гениальности.

«Не смеется ли он надо мною?» – подумал Хребтов. Однако не стал прерывать поток его речи. Ему было все равно.

А пьяный между тем продолжал:

– Да и к тому же я должен сказать, что вы, уважаемый профессор, принадлежите к самой опасной породе гениев. Научные гении – самые зловерные. Они принесли человечеству больше всего зла.

– Зла?

– Ну конечно, а вы как думали? Представьте только себе, какую восхитительно была жизнь пятьсот лет тому назад, и посмотрите, какую поганой стала она теперь. Кто же ее испортил, как не вы, благодетели человечества?

– Каким же образом?

– Да очень просто. Прежде жизнь была вещью занятной, сложной, полной таинственности, поэзии, неожиданностей. Вы со своею наукой переделали ее наново. Все стало просто, ясно, понятно и скучно, скучно до невозможности.

«Нет, – решил профессор. – Он не пьян, только в голове у него не все в порядке. Посмотрим, что он еще выдумает».

И сказал:

– Так ведь поэзия же существует и теперь. Мало ли у нас поэтов, поэтических произведений.

– Э, какая там поэзия. С тех пор как исчезла религия и вера в колдовство, поэзии больше уж нет. По крайней мере, нет ее в людях, в жизни, нет живой поэзии, а осталось какое-то кривляние, какие-то бледные тени... А кто уничтожил колдовство и религию? Вы, доктора, со своею наукою. Вы и Богу и черту дали мат – а из-за чего? Только в угоду своему самолюбию, а не для человеческого счастья, потому что человечество без Бога несчастно, а без черта еще несчастнее. Ведь человечество-то, *entre nous soit dit*¹, глупо, слишком глупо для ваших великодушных возвышенных теорий. Сколько вы ни бейтесь, а все-таки всякая голова, даже самая светлая – не больше, как скверная машинка для переработки обрывков внешнего мира...

Он засунул руки в карманы и стал качаться на стуле, не обращая внимания на своего собеседника, который мало слушал, не обращая внимания на публику, наполнявшую зал.

Какой-то франт, проходя мимо вслед за шуршащею шелком дамою, чуть не споткнулся о его протянутые ноги и, удивленно заглянувши ему в лицо, сказал: «*Pardon!*»

Но тот как будто ничего не замечал. Он качался на своем стуле, смотрел в пространство и цедил слово за словом:

– Вы, вероятно, думаете, что я говорю все это потому, что пьян – и совершенно напрасно. Что я пьян – это святая правда, но повторил бы все сказанное и в трезвом виде. Только менее складно. Вот я богатый человек, недурен собою, принадлежу к хорошему обществу, имею обширные связи. Словом, к моим услугам все способы быть счастливым, а между тем я скучаю и пьянствую потому, что мне всю жизнь не хватало двух вещей – Бога и черта. А потом, подумайте про все технические изобретения – телеграф, что ли, телефон, железные дороги, если хотите, разве они принесли кому-нибудь, кроме изобретателей, хоть каплю радости? Ведь и без них люди так же путешествовали, сносились между собою и не страдали от несовершенств техники, потому что не знали ничего лучшего. Теперь же эти чертовы изобретения лишили жизнь всяких осложнений, которые придавали ей интерес, упростили ее, сделали ее бессодержательной. Ведь все, что дается слишком легко, не доставляет радости. А теперь все дается слишком легко.

Он поймал за рукав пробежавшего мимо лакея и велел подать вина. Профессор запротестовал было, но тот только кивнул головою, будто отмахиваясь от мухи.

¹ Между нами будь сказано (*фр.*).

– Вы поставите свою бутылку при следующей встрече!

Хребтов с удовольствием отказался бы от вина, но видел, что это стоило бы длинного спора. Поэтому он предоставил собеседнику делать все, что тот захочет.

А тот продолжал:

– Вся эта электрическая гадость только даром испортила людям нервы. Другого результата я не вижу... Приходилось вам читать итальянских авторов эпохи Возрождения? Нет? Ну, а Шекспира – тоже нет? Ну, Бог вам судья. Так видите ли, у самих этих авторов и у всех людей, каких они выводят, жизнь так и кипит ключом. Они полны радостью жизни, у них всегда есть про запас хорошее расположение духа, веселье, пробивающееся широкой струей при первой возможности. А у нас этого нет, потому что нервы испорчены; мы бродим, как сонные мухи, нам легче впасть в истерику, чем развеселиться. Пессимизм – наше естественное настроение. Мы только и делаем, что ищем – над чем бы поплакать. У тех была радость жизни, а нас уныние и скука. Понимаете разницу?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.